

Евгений
Средоров



Ателус

18+

Евгений Фёдоров

Ателис

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Фёдоров Е.

Ателис / Е. Фёдоров — «ЛитРес: Самиздат», 2020

ISBN 978-5-532-99941-1

Как выглядит мир без массовой культуры, где музыка, литература и живопись создаются только гениями, а остальные лишены права тиражировать свои творения? Зачем гениям удаляют тщеславие, и что произойдёт, если система даст сбой, породив шоу-бизнес? Новый, социально-фантастический роман петербургского писателя Евгения Фёдорова, автора книги «Нефор», в 2018 году номинированной на премию «Электронная буква».

ISBN 978-5-532-99941-1

© Фёдоров Е., 2020
© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

1. Великий арти	5
2. Ателис	9
3. Дело Говарда Грейси	16
4. Воцарение	19
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Евгений Фёдоров

Ателис

1. Великий арти

Маленький неизвестный, злобно озираясь, вкрался в кабинет, вытянул папку из мёртвых пальцев и, ухмыляясь, сгинул прочь.

По ту сторону экрана переглянулись.

– Ну, вот так, – пожилой следователь закрыл ноутбук. – Узнаёте его?

Бен потерел мочку уха и отрицательно помотал головой.

– А что было в папке – знаете?

– Нет. Но могу предположить, ноты, – прозвучал недружелюбный сарказм.

– Ноты? – изумился следователь, и, словно спохватившись, озарённо протянул, – ах ното-оты. Ну да, да, конечно.

Он помедлил ещё минуту и поднялся.

– Благодарю вас, мистер Грейси. Ещё раз соболезную.

Следователь поднял ноутбук с огромного полукруглого стола, направился к выходу и, повернув дверную ручку, обернулся в задумчивости.

– А как полагаете – лично вы – стоит ли эта папка... убийства?

– Может быть, – губы Бена дрогнули и поджались.

Понимающе кивнув, следователь бесшумно покинул комнату. Бен вынул из ящика отцовского стола коробку доминиканских сигар и, откинувшись, утонул в огромном кожаном кресле. В нём, сделанном когда-то под особый заказ, днём ранее нашли тело Говарда Грейси, композитора и основателя могучей «Пятёрки Ателиса».

Экспертиза довольно скоро назвала возможной причиной смерти отравление, но ни единой зацепкой, кроме записей с камер видеонаблюдения, следствие не располагало.

Съёмка же свидетельствовала о том, что арти Грейси, вернувшись домой накануне вечером и наскоро поужинав, по обыкновению проследовал в кабинет, где, усевшись в кресле и вынув из стола синюю папку с золотой каймой, стал медленно пролистывать её, дирижируя в воздухе. Между второй и третьей страницами он на мгновение замер, расстегнул ворот рубашки, схватился за сердце, попытался подняться и рухнул в хрустнувшую кожу кресла, прижимая папку к груди, как единственное, безнадежно больное дитя.

Спустя всего несколько минут неизвестный похитил её из остывающих рук великого арти.

Кадры с прочих камер ничуть не обогатили следствие: похититель как проник в дом, так и покинул его – через парадный вход.

Тело арти Грейси обнаружила утром мать Бена. Не застав супруга в постели, но зная его обыкновение засыпать в ночном кабинете за работой, она вошла к нему – вместе с рассветом и свежим кофейным ароматом. Через мгновение похожий на ворвавшийся в явь кошмар крик матери разбудил Бена.

Видеозаписи, немедленно изъятые тем же утром, и принёс вернуть Бену следователь. Когда дверь за ним, тихим и тактичным, точно так же затворилась, Грейси-младший, раздымив сигару, заскользил глазами по кабинету, тотчас наполнившемуся слоистыми, вобравшими полуденный свет облаками.

Столетний белый рояль, не имевший собратьев не только в Ателисе, но и за его границами, терпеливо молчал в ожидании новых созвучий. К стене напротив огромного окна пробивались сквозь сигарный дым десятки солнечных зайчиков, пускаемых стеклом рамок, за кото-

рыми сияло признание. Кубки и статуэтки с другой стены сверкали величию первой гордости Ателиса – Говарда Грейси.

Меряя взглядом это великолепиие, Бен в тысячный раз отдался грёзам. Что стало бы с ним, родился он сам великим арти! Как утопал бы он в лавах оваций, ловя на себе сахарные взгляды женщин, принимая поклоны высокочинных мужчин, теряющих несломляемое достоинство перед ним – Беном Грейси, властителем музыки и кукловодом человеческих душ!

Но нет, не откроются перед ним, сыном глубочайшего мастера, эти двери. Сыну того, чей высокий лоб украшала метка арти – шрам на месте родимого пятна, отметины пришедшего в мир нового гения, сыну несравненного Говарда Грейси, основателя «Пятёрки Ателиса», не познать всего этого – никогда.

Пепел упал с сигары на лакированную поверхность стола, и в тот же момент в кабинет вошла мать.

– Бен, милый, обедать.

Он перевёл выключенный взгляд на её розовое, с припухлостями, лицо.

– Что? Ах, да, да... Спасибо, мама.

Скуластая домработница Герба, нанятая в дом три месяца назад, уже собрала вторничный обед, в точности каковой значился на сегодня. Мать Бена, Мария, сама составляла недельное меню в конце каждого месяца, всякий раз проявляя беспримерную интуицию и безупречное знание вкусовых предпочтений семейства, зачастую крайне неочевидных.

Обед, обыкновенно сдобренный благодушным семейным общением, приправленный шутками различной остроты, прошёл в тяжёлом безмолвии. Герба покачивала стянутыми в хвост чёрными волосами под белым чепцом, цокая тарелками и журча чайными струйками. Звуки эти непривычно заполняли тугость воздуха, пульсировавшую тоскливым постукиванием настенных часов.

– Спасибо, Герба. Благодарю, мама. – Бен допил чай и, лёгкими касаниями губ пропитав ткань салфетки, поднялся из-за стола и направился к выходу.

– Бен, милый, устрой всё сам, – тихо проговорила мать и протянула ему чёрный угольник визитной карточки. Он молча принял визитку и вышел за дверь.

Дом семейства Грейси готическими шпилями выделялся на фоне прочих особняков, располагаясь в одном из центральных кварталов Ателиса, на углу проспекта Джойса и улицы Грига. Огороженный кованой решёткой, изнутри он виделся просторнее, чем снаружи: солнце вливалось через громадные окна жадными лавинами, и пространство плевало на физические законы, разрастаясь всеми гранями. Две небольшие комнаты второго этажа были отданы прислуге, в девяти остальных проходила жизнь главы семейства, его супруги и их единственного сына.

Перед взором гостя с порога распахивался широкий зал с камином. В часы званных вечеров Говард Грейси покачивался в кресле-качалке у огня и, пуская редкие клубы дыма из-под острых усов, уютно улыбался тем, чьим смехом в это время наполнялся дом, они шутили, танцевали, пили шампанское и улыбались ему в ответ. Вечно бессонные, глаза великого арти наполнялись светлой усталостью и миром, которым он делился с каждым, кто встречался с ним взглядом. Докурив сигару, он неизменно первым покидал зал, под десятки аплодисментов пожимая благодарные руки. Удалялся в спальную комнату и растворялся в крепком, как его скорый утренний кофе, сне, чтобы с рассветом упоённо и мучительно искать свежие созвучия, заново изобретать музыку и снова влюбляться в мир.

Пятьдесят три года назад рождение арти Грейси встряхнуло Ателис. Стоило ли удивляться: предыдущий арти вышел из материнского лона за четверть века до Говарда, и следующие за этим долгие годы без новоявлений заметно сгустили атмосферу города, постепенно упрочняя предчувствие надвигающейся катастрофы. Старые арти уходили, новые – не приходили, и культурный голод накапливался в горожанах, грозя разрешиться в массовую истерию.

Незадолго до рождения Говарда в Ателисе уже наметился уверенный рост мелкой преступности и волнений. Появление ребёнка с меткой арти, словно гроза, разрядило воздух. Люди пели и не прятали слёз.

Предчувствие взрывного величия Грейси оправдалось очень скоро, когда город услышал долгожданные шедевры, созданные гением шестилетнего вундеркинда. История не знала ничего подобного.

С того дня минуло полвека, пропитанных творениями Говарда Грейси. Он вывел искусство на уровень, прежде казавшийся чем-то вроде пятого измерения: возможно, где-то и существовавшего, но не пересекавшегося с миром Ателиса даже в самых дерзновенных снах.

Не было в городе человека, чьей тончайшей струны, сокрытой даже от сердца её обладателя, не затронул своей музыкой великий арти. Лучшие чувства людей, неведомые до того им самим, выступали солью на глазах, вырывались радостью из лёгких, пробегали тысячами мурашек по коже, а сердце вздрагивало, смущая и пугая частотой и новизной сокращений.

Лучшие ноты всегда навещали Говарда в утренние часы, и довольно скоро после первых своих музыкальных шагов он вывел порядок, которому не изменял до предсмертного, почти змеиного сипа. После утреннего кофе, который Мария всегда варила ему сама, он, усевшись перед роялем, ловко ухватывал музу и терзал как куропатку, дёргая перо за пером и не выпуская до тех пор, пока на нотной бумаге не проявлялась более или менее цельная картина новой музыкальной главы. Затем обедал с семьёй и отправлялся дорабатывать наброски при помощи оркестра из сорока музыкантов – ему нравилось слышать мысли сразу, ловя оттенки и тембры, выискивая благозвучные сочетания инструментов и накладывая нежные партии альтов на грубую резь духовых. Вечером после ужина он додумывал штрихи, сидя за рабочим столом в домашнем кабинете и позволяя музыке звучать только в воображении, пока уши отдыхали от многочасовых перегрузок. Затем следовал сон, и следующий день начинался с кофе, варить который умела только Мария. Он любил только этот кофе и только эту женщину с лицом дамы с горностаем.

Бен часто бывал свидетелем рождения новых творений, и, когда полёт фантазии композитора опережал его память, сын успевал переносить на бумагу сиюминутный сумбур, выскакивающий из-под пальцев гениального отца. К двадцати годам он преуспел в этом умении настолько, что Говард всё чаще стал просить его присутствовать на импровизациях и записывать их нотами.

У младшего Грейси был талант, однако состоял он не в скорости нотного письма и умении мгновенно расшифровывать спонтанную игру. Довольно часто он ошибался в нотах, ориентируясь на собственное чутьё. Но ошибки эти так точно укладывались в отцовскую идею, что, считывая потом с листа записанное, Говард восторженно восклицал:

– Это гениально, сынок! Я не мог этого сыграть, и это – гениально! Клянусь небом!

Это и послужило в своё время причиной, во-первых, отказа великого арти от звукозаписывающей аппаратуры во время домашних импровизаций, и во-вторых, появления имени Бена в качестве соавтора в нескольких сонатах, несмотря на то, что сам писать музыку он не умел. Его композиторское существо, скованное цепью нехитрой предсказуемости аккордов (количество которых редко переваливало за три), каждый раз безутешно рыдало, обессилив от беспомощных попыток скинуть прочные кандалы звукового графоманства. Фантазия шептала Бену, что он может писать лучше, что приводило его к уверенности в собственных способностях, пока не нашедших для реализации нужных созвучий – только и всего.

Имя сына на пластинках Говарда Грейси не воспринималось жителями Ателиса всерьёз. Они всё понимали и прощали сентиментальному отцу эту слабость. Рождённый без метки арти никогда не станет арти – это закон, твёрдый и неизменный как таблица умножения. И, как всякий закон, отменить его под силу лишь сущностному перевороту, идущему из самых глубин душевной природы.

Первые попытки Бена, тогда пятнадцати лет от роду, подражать делу отца поддерживала мать.

– Говард, хотя бы попробуй, – убеждала она мужа, отказываясь до конца принять, что сын, даже обладай он бесподобным, но всего лишь – талантом, был бы обречён на непризнание жаждущим лишь гениев Ателисом.

– Милая моя, – с тоской отвечал Говард, – он на девяносто процентов состоит из тщеславия и на десять – из лени. Ему не на что рассчитывать, кроме бесконечных терзаний. Давай сэкономим нашего мальчика.

– Силы небесные! Ну, а из чего? Из чего, по-твоему, ему нужно состоять?! – взмахивала руками во всхлипывающем отчаянии Мария.

И к смиренной горести в голосе Говарда примешивалась убивающая всякую потугу сталь:

– На девяносто – из трудолюбия и на десять – из таланта.

И, помолчав, он добавлял:

– И ещё двести процентов – метка арти. Если её нет, будь ты даже Моцартом, никто не станет тебя тиражировать.

Он любил сына. Но, глядя на него, отдавал себе отчёт в правде, на которую не мог повлиять, как бы ни хотелось того его мягкому сердцу.

Наружностью Бен пошёл в отца. Это был среднего роста коренастый брюнет с вьющимися волосами, пытливым взором и длинными музыкальными пальцами. Лишь шрам не украшал его гладкого лба. В годы первых, быстро, впрочем, пресечённых отцом музыкальных экспериментов мать гладила этот лоб перед сном, глядя на него с сожалением, от которого увлажнились её глаза.

Похожим взглядом встретил Бена хозяин похоронной конторы, когда, переступив порог, сын великого арти произнёс:

– Добрый день! Я Бен Грейси.

2. Ателис

Этой весной Ателис расцвёл раньше обыкновенного. В начале апреля оживающая почва и предчувствие праздника уже вошли в лёгкие горожан майской полнотой.

Искусство составляло основу и смысл города-государства. Вживляемая и подкрепляемая плодами трудов арти – писателей, композиторов, художников и скульпторов – природа ателисцев не принимала ничего, мельче великого. Если бы вам вздумалось скоротать пару часов за бесхитростным книжным сюжетом, расслабиться под незатейливую мелодию или озадачиться перед холстом, отсылающим к азбучной геометрии, вы бы сбились с ног – здесь и близко не встречалось подобного.

Центр Ателиса представлял собой два пятиугольника – малый внутри большого. Их стороны-улицы пересекались с лучами-проспектами, тянущимися из центра к углам.

От сердца города, площади Леонардо да Винчи, увенчанной исполинским витрувианским человеком, брали начало пять проспектов.

Проспект Джойса пролегал на север от кудрявой мозаичной головы. Кафка и Пруст устремлялись на северо-восток и северо-запад от вскинутых, словно для объятий, рук. Из-под танцующих ног тянулись вниз проспекты Оруэлла и Достоевского. От прямостоящих – уходил на юг стометровый бульвар Брейгеля, по обе стороны от которого пахли розами и шалфеем треугольные скверы: имени Гауди – слева, и Растрелли – справа. Одним катетом каждый из них прижимался к Брейгелю, гипотенузы чертились параллельно южным проспектам – Оруэлла и Достоевского.

В названиях сторон-улиц малого пятиугольника увековечились Шуберт, Вагнер, Лист и Моцарт. Улицы подлиннее рисовались на карте города сторонами большого пентагона и носили имена Брамса, Грига, Чайковского и Дебюсси.

Южной и самой крупной частью центрального Ателиса зеленел единственный парк, что начинался к югу от скверов и соединялся с площадью да Винчи стометровкой Брейгелева бульвара.

В живописнейших барочных домах центра квартировали арти и народные служители всевозможных чинов. Прочие строения, не столь изысканные, но вполне симпатичные, были призваны заполнять пустоты в жадных до прекрасности душах горожан: театры, музеи, книжные магазины, картинные галереи и так далее. Служащие этих *institutions culturelles*, как и тысячи горожан, чтили и обеспечивали арти и городских чиновников, живя за пределами большого пятиугольника, в периметр которого вонзались улицы с бетонными домами. Они не имели названий, ограничиваясь номерами – от первого до восьмидесятого.

Двадцать лет назад по ним, кипящим работой официантов и продавцов, поваров и ремонтников, ремесленников и прочих ателисцев, проходил раз в неделю с пятилетним сыном Говард Грейси. Каждое воскресенье он надвигал на глаза фетровую шляпу и брал Бена в поход за вкуснейшей в Ателисе выпечкой, которую продавала на углу 75-й и улицы Грига яркоглазая женщина-пекарь с седыми не по годам волосами. Те, кто узнавал отца в лицо, расплывались в учтивой улыбке, и он почтительно склонял голову, слегка приподнимая шляпу изящными пальцами.

– Папа, а ты знаешь всех этих людей? – задирает голову Бен и жмурится от солнца.

– Нет, сынок. Ни одного.

– А зачем же ты им кланяешься?

– Потому что каждому из них мы обязаны всем, что у нас есть.

– Почему?

– Вот, видишь? – указывал Говард на карабкающегося по облупившейся стене маляра. –

Если бы не он, ты съедал бы на одну конфету в год меньше.

– Ну и что! – тоненько прыскал сын. – Что такое одна конфета за целый год!

– А если прекратят работать все на этой улице, то ты вовсе не будешь есть конфет.

Бен замолкал и, поморщив лоб, снова поднимал глаза.

– А если и на соседней улице тоже все бросят работать?

– Тогда плакали вместе с конфетами и твои игрушки.

Пытливое лицо округлялось ужасом, но следующий вопрос уже искал ответа:

– Ну, а если вообще все-все не будут работать?

– Если все эти люди станут отдыхать, сынок, то на их месте окажемся мы – я, ты и мама.

– Почему мы? – моментально взрослел на пару лет Бен.

– Потому что больше будет некому. Кто-то должен заниматься их работой. И они выполняют её для того, чтобы мы могли жить так, как живём. И наш долг – быть им за это благодарными и ценить то, что они делают.

И Говард помогал стоящей на остановке женщине с сонным лицом водрузить детскую коляску в автобус (транспорт в Ателисе был только общественный). Женщина, привыкшая к охотному участию от каждого, кто оказывался рядом в подобные моменты, не произнося ни звука, выражала признательность еле заметным кивком.

– А почему мы живём не с ними? – возвращал отца к диалогу Бен. – Из-за твоего шрама?

– Из-за шрама, – кивал Говард и смущённо озирался.

– А у меня тоже такой будет?

– Нет, сынок. Это метка арти, она бывает только у арти.

– А что значит арти?

– Художник.

– Но ведь ты не рисуешь.

– Художник – не только тот, кто рисует, сынок. Художники пишут и книги, и картины...

– И музыку? – подпрыгивая, перебивал Бен.

– И музыку.

– А зачем тебе сделали этот шрам?

– Мне сделали операцию, когда я только родился. Шрам остался после неё.

– Операцию?

– Да, всем арти делают операцию.

– Зачем?

– Чтобы они не заболели.

– Не заболели? А чем не заболели?

– Одной нехорошей болезнью.

Бен задумывался, полагая, что ему нужно угадать название загадочного недуга, и через минуту сдавался:

– А какой болезнью?

– Она называется звёздная болезнь.

– О-о-о! Звёздная – это какая-то красивая!

– Увы, сынок, звёздная – самая страшная болезнь. И вовсе не красивая.

– Да? – сощуривало глаза мальчика сомнение, как будто когда-то ему неверно объяснили значение простых слов.

– Страшная, сынок. И очень жестокая. Она лишает человека самого главного.

– А чего?

– Любви к другим, уважения, бескорыстия – много чего.

– Беско...

– Бес-ко-рыс-ти-я, – проговаривал по слогам Говард.

– А что такое, – спотыкался малыш и, собравшись, выговаривал с первого раза, – бес... ко... рыстие?

Отец одобрительно кивал, отмечая маленький успех.

– Правильно, бескорыстие. Это когда ты делаешь что-то не ради конфеты, а просто потому, что хочешь порадовать другого человека.

Бен снова озадаченно морщил чистый лоб.

– А почему нельзя делать что-нибудь, чтобы радовать себя?

– Почему же нельзя, можно. Но не всё, что ты делаешь для другого человека, нужно делать ради конфеты.

– А ради чего делать?

– Ради любви. Или ради искусства, музыки. Ради мамы, наконец.

– Я люблю маму, – жарко уверял сын.

– Конечно, любишь. А мама ещё больше любит тебя.

Какое-то время они шли молча, а когда на горизонте уже виднелась скромная витрина пекарни, Бен включался снова:

– Пап, а у тебя, значит, не будет этой звёздной болезни?

– Не будет, не сомневайся.

– А на что она похожа? – разочарованный невозможностью когда-нибудь увидеть её воочию, бубнил Бен.

– Ни на что не похожа, – поразмыслив, отвечал Говард. – Просто, кроме того, что тебя всё чаще начинают узнавать незнакомые, знакомые так же часто тебя не узнают.

Бен и спустя двадцать лет помнил этот разговор. И то, как блестела на июльском солнце серебряная седина продавщицы пирожных. Женщина смотрела на отца с благоговейной почти-тельностью и протягивала ему горячий бумажный пакет, от которого струился знакомый ванильный аромат.

– Для вас, как всегда, самые свежие, арти Грейси.

Отец признательно улыбался, расплачивался и прятал в тень шляпы ромбовидный шрам.

Тогда, пятилетнему, никто не говорил Бену, что глоритомия – операция по удалению тщеславия у новорождённых арти, освоенная медициной Ателиса много десятилетий назад, – не во все времена проходила успешно и в первые годы практики нередко разрешалась в холодящий, полный ужаса материнский крик.

В раннем Ателисе цифры, которыми исчислялись смерти младенцев после глоритомии, леденили воображение. Новая же история вовсе не знала трагических примеров. Едва в родильной палате впервые раздавался тоненький писк обладателя родимого пятна в форме полумесяца на правой стороне лба, дитя немедленно попадало в операционную. Опытнейшие хирурги-глоритомисты проводили манипуляции в правом полушарии, после чего на месте родимого пятна алел ромбовидный шрам. Когда ребёнка возвращали матери, она впервые брала его на руки и лишь тогда узнавала, что подарила миру нового арти.

Словом, всем было известно, что современная глоритомия не имела с экспериментами ранней поры ничего общего и в ста процентах случаев проходила успешно, пуская в мир лишённого тщеславия гения, рождённого творить ради искусства и блага Ателиса.

Во времена тех прогулок с пятилетним сыном тридцатилетний Говард Грейси объединил вокруг себя четверых коллег-арти: писателя Фруко, композитора Шульца, художника Эс Каписто и юного скульптора-архитектора Болса. Уже через год авторитет «Пятёрки Ателиса» затвердел алмазной прочностью. Именно эти пятеро – самых старших и опытных – составляли и утверждали культурное меню для горожан и определяли судьбу творений арти помладше.

Фруко решал, какой роман будет опубликован в первую очередь, а какой стоит отправить автору на доработку. Шульц утверждал репертуар филармонии и выпуск опер и концертов на виниловых пластинках. Эс Каписто делился опытом с молодыми арти и собирал выставки из холстов юных гениев. А мимо Болса не проходили ни барельефы, ни памятники, ни даже колонны, выставившие в Ателисе.

Устоявшийся порядок позволял жителям ежегодно прочитывать с десятков высококачественных романов и каждый месяц посещать художественные галереи и филармонию, заряжаясь порцией новых шедевров.

Говард Грейси, однажды распределив роли, не вмешивался в дела коллег, предпочитая творить, будучи формальной верхушкой «Пятёрки», этакой звездой на башне. Он творил, репетировал с оркестром, дирижировал и равных в своём деле не знал.

Раз в месяц все пятеро собирались в кабинете Грейси в здании филармонии на площади да Винчи. Они пили коньяк и курили сигары, сдабривая дружеские посиделки рассказами о последних открытиях в мире искусства и интригуя друг друга обещаниями скорого «бриллиантового века» и грядущих тиражей новых гессе и рахманиновых.

– Вы не представляете, господа, как умеет взволновать мысль этот юноша! Вот увидите, он непременно когда-нибудь получит нашу главную премию, – восторженно потрясал пальцем краснолицый Фруко и молитвенно складывал рыжие ладони.

– Вы о каждом так говорите, – скептически выпускал сигарный дым Болс, самый молодой и склонный к меланхолии член «Пятёрки».

– Да-да, коллега! – горячо поддерживал его темпераментный – в противоположность Болсу – Эс Каписто, смуглый пожилой брюнет с вечными следами от палитры на манжетах. – Ваши пророчества ещё ни разу не подтверждались документально.

– Монументально тоже, – замечал Шульц, с лица которого никогда не сходила саркастическая, но дружелюбная улыбка.

– Клянусь, господа, – крестился Фруко, – я сам едва не бросился к перу, дочитав его последний роман! Столько мыслей, столько силы! – возбуждался и краснел он, выписывая в воздухе дирижёрские фигуры.

– Кстати, коллеги, – вдруг прерывал молчание Говард Грейси, – вы, вероятно, забыли, какое сегодня число. Равно как и повод для сегодняшней встречи. Напоминаю, что прошёл ровно год. И, насколько я помню, арти Фруко на сегодня – единственный, кто не выпустил в мир ни строчки. Прошу вас, коллега.

И он указывал на висящий в углу кабинета, похожий на почтовый, небольшого размера ящик с надписью «Благотворительность». Под дружное кивание, сопровождаемое звуком наполняющихся под рукой Болса коньячных бокалов, Фруко подходил к ящику, отсчитывал десяток крупных банкнот и с шорохом опускал их в металлическую коробку. После внесения платы за творческий простой Фруко возвращался с несколько поутихшим энтузиазмом к своему креслу и сгребал со столика бокал, в котором преломлялся благородными бликами ярчайший янтарь.

– Благодарю вас, арти Фруко, – улыбался Грейси и произносил тост, после чего вновь обращал к писателю колючий взор. – Вы в самом деле полагаете, что этот молодой человек достоин премии? Возбудит ли он в сердцах жителей то, ради чего мы все работаем?

– Несомненно, арти Грейси! – с прежним воодушевлением подпрыгивал в кресле Фруко. – Несомненно! Я сам читал! Это гениально!

За окнами раскатился гром.

– В мире гениев искусства? Странно, – поморщился от коньяка Шульц.

Эс Каписто, дожевывая лимон, аккуратно выложил полумесяц корки на край блюда белого фарфора.

– Господин Фруко, а вы хорошо помните историю первого казнённого арти?

Всхлипывающие звуки жующихся лимонов смолкли.

– Я дерзну вам о ней напомнить, ибо именно высокая вероятность подобного исхода служила истинным стимулом и мерилем искусства в древнее время. И, как вы знаете, лично я до сих пор уничтожал бы всякого, кто забыл, для чего небо поставило печать на его лоб.

– Коллега, – низко заговорил Болс, чьи светлые волосы, казалось, приподнялись всеми луковицами, – мне кажется, сейчас не тот момент, чтобы вспоминать... Тем более теперь, когда начались эти странные разговоры... Мы не должны лишний раз...

– Вы слишком молоды, арти Болс, – неожиданно грубо осёк его Эс Каписто и громко закашлялся, отчего все присутствующие вздрогнули. – Рулетка – это вам не пара лет в тюремной камере древности. Вы играли в «русскую рулетку»? Я вам продемонстрирую!

Волнение зашевелило воздух, а Эс Каписто вынул из-за пояса шестизарядный револьвер.

– Арти Эс Каписто, мне тоже не кажется уместным... – начал было Говард Грейси, но, усмирённый авторитетом председателя, Эс Каписто уже и без того осознал неуместность предпринимаемого и убрал оружие, не тронув барабана.

– Я потому и ношу с собой этот кольт, что разговоры, как справедливо заметил Болс, пошли. Не допущу и приблизиться к себе. – Он не договорил. – А вы знаете, арти Болс, как именно рассчитывалось количество взводов?

– Мы знаем, коллега, разумеется, право, не стоит, – участливо потянул к нему руки Фруко.

– Нет, я напомним нашему молодому соратнику, который, быть может, в своё время проспал эту лекцию. Так вот, дорогой Болс. Один суицид в городе равнялся одному вращению барабана и следующему за ним нажатию курка. Два суицида – два вращения. И после каждого – курок. Знаете, какова ваша вероятность выжить, если вы спустили курок пять раз? Пятьдесят на пятьдесят. А если шесть – скорее всего, вы труп. Один лишний минор, помноженный на одно следующее за ним самоубийство, один неосторожный мазок кистью, одно неотточное слово в книге – всё приближало вас к смерти.

Гром за окнами стих, и за ним последовал монотонный стук капель по карнизу кабинета, в котором повисла пауза.

– Да, коллега, – заговорил первым Говард Грейси, – конечно, в былые времена психика наших сограждан была не так крепка. Но ведь весь этот нынешний шёпот по углам – вздор, вы сами понимаете. И ведь читали Оруэлла, Кафку... И читают. – Он возвысился над столом, как мессия над горой, с которым не спорят, а лишь принимают каждое слово. – Современные люди – уже не дети древности, и к тому же лучше образованы. Нам не стоит опасаться возвращения былого варварства.

– Разумеется, арти Грейси. Но вы не хуже всех нас знаете, – почтительно и с достоинством склонил голову Эс Каписто, – как шаток мир человеческой психики. И как зависит сознание человека от внешних факторов, над которыми, замечу, вполне не властны ни вы, ни я, ни любой из нас. Я ничего не исключаю, – завершил он и задумчиво опустился в кресло, кашляя и болтая бокал, в котором тонко стекали ко дну вертикальные полосы.

– Да-с, – решительно, по-врачебному, шлёпнул себя по коленям Фруко и поднялся из кресла. – В конце концов, что нам за дело, как расслышал пьесу или понял картину некий конюх!

– Ну, коль ваше искусство – для конюхов... – улыбнулся Шульц.

– Я творю для человека, мсье Шульц, – вздёрнул рыжий палец Фруко, и в интонации его прочиталась неожиданная твёрдость. – Но если меня потащат на плаху за мои строки... Впрочем, мы заболтались, господа. Какая может быть плаха. И какая «рулетка»! Это всё Эс Каписто нас запугивает, негодник. Ха-ха-ха!

Смех не встретил поддержки.

– Да, вы ещё вспомните того чудака, который намеревался опоясать планету проводами, чтобы соединить все наши новые машины... Как же их... – принялся тереть шрам на лбу Фруко.

– Компьютеры, – подсказал Болс.

– Да, именно, компьютеры – в одну сеть. Будто рыбу! Ха-ха-ха!

Болс натужным комом проглотил остатки коньяка.

– Судья отправил его в смирительный дом.

– Да, именно! Именно! – упоённо пьянел Фруко. – А ведь какой бы вышел из парня фантаст! Э-эх! – Он громко опустил стакан на поднос. – Даже жаль.

«Да, жаль», – согласились остальные, и лишь Болс окинул мрачным взглядом опустевший бокал.

– Впрочем, всё это вздор, – произнёс Фруко.

– Что именно? – с вызовом сдвинул белёные брови Болс.

– И плахи, и «рулетки», и ваши с Эс Каписто странные страхи.

– Эти страхи взялись не с потолка, – горячо возразил Болс, – настроения в Ателисе уже ухудшаются.

– Ну кто, кто вам это сказал?! – вскричал Фруко. – Лично я ни о каких шёпотах и слухах, как и прочей ерунде, кроме как от вас, ни от кого больше не слышал!

– Если вы не слышали, это значит лишь то, что вы засиделись в своём кабинете. Когда вы вообще в последний раз посещали рабочие кварталы?

– Дорогой Болс, мне ни к чему там бывать. Всё, что мне нужно для жизни и работы, как вы знаете, находится в пределах пяти минут от моего дома.

– Именно. Об этом я и говорю. Откуда вам знать о настроениях горожан, вы долгие годы не встречаетесь ни с кем, кроме коллег.

– А вы?

– А у меня недавно украли золотые часы!

Тишина заполнила кабинет. Все четверо в изумлении посмотрели на Болса.

– Что случилось с вашими часами? – первым переспросил Эс Каписто.

– Да! – взвизгнул Болс, будто сорвавшись с резьбы. – У меня пропали часы, что достались мне от отца!

– Как? – подключился Говард. – Когда?

– На прошлой неделе.

– Кража? Вы хотите сказать, вас обокрали? – сурово уточнил Шульц.

– Вы удивительно точно трактуете мои слова, – с саркастической издёвкой отозвался Болс.

– Помилуйте, вы, верно, потеряли или забыли их где-нибудь.

– Мсье Шульц, семейных реликвий не забывают и тем более не теряют. Особенно золотых. Если бы вы знали, что для меня значили эти часы, вы бы поняли недопустимость вашего предположения и постыдились бы говорить мне подобное.

– Простите, коллега, – осторожно, сутулясь, подошёл к нему Фруко, – ведь вы понимаете, что значит кража в Ателисе? Это невероятно серьёзно.

– Я как никто понимаю, что это значит, – недружелюбно взглянул на него Болс. – Именно поэтому настаиваю на обоснованности наших с Эс Каписто подозрений.

– Господа, – поддержал Эс Каписто, – а ведь вспомните, как несколько месяцев назад я рассказал вам о пропаже бумажника, а вы все убедили меня, что дело просто в старости, которая, как вы выразились, не щадит даже арти. Но я тогда, признаюсь теперь честно, так и не поверил в собственную рассеянность, хоть и не исключал этого окончательно. Теперь же, когда у нашего молодого друга, уж точно не страдающего ни худой памятью, ни слабоумием, пропадает одна из самых дорогих для него вещей...

– Самая дорогая, – поправил Болс.

– Тем более! Коллеги, это кража, тяжкое преступление. И, как я полагаю, уже не первое. Что же будет дальше! И вы, как и прежде, не считаете опасения, о которых твердим вам мы с Болсом, обоснованными?

– Друзья, друзья, – торопливо затрещал Фруко, – давайте не спешить с резолюцией.

– Да, – поддержал его Шульц, – я предлагаю повременить с выводами. Дорогой Болс, вернёмся к этому разговору позже? Если, скажем, через пару недель ваши часы не отыщутся, мы обсудим это снова и непременно что-нибудь решим.

Болс окинул коллег ищущим поддержки взглядом и понял, что кроме Эс Каписто ему никто не поверил.

– Я рад, что мы собрались, – в знак окончания разговора поднял руку Говард Грейси, – но вынужден просить прощения, и спешу откланяться – работа требует домашней обстановки и родных стен.

Он одним движением выплеснул в себя обжигающие остатки разлитого Болсом по пяти бокалам коньяка и по очереди пожал четыре крепкие ладони. Первым покинул кабинет Болс, сорокалетний скульптор, известный внутри «Пятёрки Ателиса» грубоватой замкнутостью и внезапными шедеврами, поражавшими город свежестью и незапачканностью взора.

Эта встреча стала последней для председателя, из чьих бесчувственных пальцев несколько часов спустя неизвестные руки вытянули синюю с золотой каймой папку, в которой жило величайшее из всего им созданного.

История искусства насчитывала немалое количество арти. Но в любом отрезке времени творили, подпитывая и поддерживая в ателисах способность чувствовать прекрасное, не более тридцати или сорока. Они безраздельно владели правом созидания, и единственным пропуском в мир творцов служила метка арти.

Учебники истории рассказывали, что когда-то в Ателисе главенствовала свобода творчества и для любого мало-мальски одарённого жителя с лёгкостью раскрывались резные двери издательств, галерей и пышных концертных залов, что и привело довольно скоро к загрязнению культуры графоманской и звукосодержащей продукцией и, как следствие, к упадку города вместе с нравами его обитателей. Тогда и было решено впредь наделять правом тиражирования лишь произведения гениев, без лазеек для «просто способных» сынов Ателиса.

Благодаря сделанным в прожитые времена выводам город вскормил на шедеврах общество, замешанное на жажде прекрасного, как маскарпоне на сливках, – людей, под которыми цементела мораль, неколебимая и несокрушимая.

3. Дело Говарда Грейси

Прощание с Говардом Грейси привело к зданию филармонии десятки тысяч ателисцев, движимых горьким желанием преподнести великому арти последний букет. Рассчитанная на первую половину дня, церемония завершилась лишь к вечеру. Чёрные автобусы каждые полчаса с траурным гулом отправлялись к месту погребения, дрожа внутри горой свежих роз, гвоздик и тюльпанов, чей аромат тянулся вместе с километровой чередой мрачных, но светлых людей. Уже ближе к полуночи цветы увенчали своим многотонным свежий холм, в котором утонул мраморный памятник.

Вечер памяти Мария решила провести назавтра.

Первым в жилище Грейси прибыл заметно постаревший за несколько дней и без того седой Шульц. За ним последовали вечно багровый Фруко вместе с Эс Каписто, в чьих руках подпрыгивал элегантный зонт-трость. Сорокалетний, вполне годившийся им в сыновья Болс вошёл в зал с камином позже остальных, тучно переваливаясь и поминутно обтирая платком напряжённые щёки. Предложив ему занять за столом последнее пустовавшее место, Мария, держась за деликатность манеры как за сдерживающий стон щит, обратила к собравшимся нездоровое лицо.

– Я благодарю вас, господа! Мы с Беном признательны вам за то, что вы посетили наш дом, хотя я уверена, сейчас вы предпочли бы побыть каждый наедине с собой.

– Миссис Грейси... Мария! – немедленно подлетел к ней Фруко и с жаром сжал бледность её ладоней. – Не сомневайтесь, для нас эта величайшая потеря значит не меньше!

– Благодарю, – подняла тусклые глаза Мария, отчего Фруко сконфузился и, оробело извиняясь всеми телодвижениями, вернулся за стол. – Мы с сыном надеемся, что сегодняшней вечер пройдёт в тёплых воспоминаниях, а не угрюмом молчании. Угощайтесь, господа, прошу вас!

Чуткие к вдовьему сердцу, гости послушались. Очень скоро они разыграли духом, за чередой весёлых и казусных историй о Говарде не позволяя Марии утопать в горе. Бокал за бокалом, на лице её заиграла редкая, чуть болезненная улыбка. Герба едва успевала следить за тем, чтобы фужеры не пустели, суетливо подливая в первую очередь Бену, который, заняв отцовское кресло у камина, потягивал вино и наблюдал за происходящим из-под чёрных выюнов, покрывавших лоб. Встретившись взглядом с Болсом, он вдруг приподнял бокал, посылая молодому арти тост. Тот не ответил и залпом допил коньяк. Затем поднялся из-за стола и проговорил:

– Прошу меня извинить, господа, я оставлю вас ненадолго.

Бросив на Бена потный, взволнованный взгляд, он вышел. Бен последовал за ним.

На улице только что утих дождь. Болс шумно втянул влажный воздух, и порыв ветра согнал светлые волосы на широкое лицо. Убрав лохматые кудри, арти произнёс:

– Что говорит следователь? Убийство?

– Ты уже в курсе? Да, он приходил.

Болс помолчал.

– Ты ведь понимаешь, что начнётся в городе, если полиция заявит об убийстве? Понимаешь, что это событие чрезвычайное?

– Неслыханное, – лениво потёр мочку уха Бен.

Болс вынул сигару и, сломав две спички подряд, с трудом раскурил её, процедив:

– Зачем мы кормим полицию, если она бессильна в тот редкий момент, когда от неё понадобился толк, – именно так скажут все.

– Не паникуй. Наши следователи знают о раскрытии убийств не больше, чем написано у Достоевского.

– И в учебниках по криминалистике, – заметил Болс.

– Последние из которых – позапрошлого века, – кивнул Бен и убедительно поднял палец. – Улики, Болс. Неопровержимые, прямые улики – вот что имеет значение.

Бен откинулся на дверь, за которой гулко прогремел приступ коллективного смеха.

– Защитная реакция, – усмехнулся он.

Болс тоскливо посмотрел на него и произнёс:

– Завтра в половине третьего, в «Старом каретнике».

– Хорошо.

– Не опаздывай, у меня не будет времени ждать.

Они вернулись в дом, когда хмельной Фруко возбуждённо что-то вкрикивал в гостей, по своему обыкновению активно жестикулируя посреди зала:

– Господа, поймите меня правильно!

– А вы правильно изъяснитесь, – поднял из-за стола насмешливый взгляд Шульц.

– Я ведь не то чтобы настаиваю! Я всего лишь... Я не призываю вас разделять мои взгляды!

– Тогда зачем вы их озвучиваете? – равнодушным тоном произнёс облокотившийся на каминную стену Эс Каписто, чьи помеченные краской манжеты поблёскивали звёздами, отражая огонь.

– Коллеги! Мария! – заметался, ища поддержки, Фруко. – Болс! Как вы вовремя, милый мой! Молю, поддержите старого литератора! Я говорю, что если публичный человек чувствует ответственность за тех, кто к нему прислушивается и почитает его талант, то это прекрасно – честь ему и хвала. Но ведь он совсем не обязан брать на себя этот груз!

– Последнего арти, который думал так же, суд обязал трижды щёлкнуть курком у виска, – заметил Эс Каписто и зашёлся коротким кашлем в кулак.

– Не обязан творец нести ответственность за воспитание чужих ему людей! – горячо продолжал, будто не заметив этой реплики, Фруко. – Это задача исключительно родителей, ведь так? – И он заглянул в глаза Марии, пытаясь найти в них участие.

Она неловко улыбнулась и жестом остановила Гербу, выглянувшую из кухонного коридора с запечатанной бутылкой «Сильванера» в руках. Герба кивнула и вернулась на кухню вместе с вином.

– Это вам-то эти люди – чужие? – пришёл на помощь Марии Шульц, отчего-то как будто оскорблённый словами Фруко. – Коллега, вы, вероятно, теперь во хмелю и забыли, что вы – арти.

Фруко пылко вскинул рыжую руку.

– Арти Шульц, искусство ни в одном из его видов не должно нести воспитательной функции! Я не желаю более формировать ничьи взгляды на бытие и ни на чьё мировоззрение влиять не хочу, понимаете?

– Должно быть, у вас просто кризис, дорогой Фруко, – улыбнулся Шульц. – Вы же за год не написали ни строчки не потому, что груз ответственности придавил вам руки.

– Ваше снисхождение неуместно и оскорбительно, коллега!

– Остыньте, Фруко, окажите милость. Не кипятитесь так, – прервал молчание Болс и положил мясистые ладони на сухие старческие плечи.

То ли под тяжестью рук, то ли вняв уговорам, скандалист умолк и уныло посмотрел на дно высохшего фужера.

Болс усадил его за стол и услужливо выложил перед ним на тарелку солидный кусок жирного, запечённого с розмарином осетра. Фруко принялся вяло ковырять рыбу вилкой.

И в этот момент тишину пронзила трель звонка. Хозяйка отворила дверь, и на пороге возник изнурённого вида человек. Лицо Марии потемнело. Помешкав, она посторонилась, приглашая гостя в зал.

– Позвольте представить... – в неловкой задумчивости обернулась она к гостям.

– Догг, – смущённо шепнул визитёр.

– Позвольте представить, господа! Мистер Догг, следователь полиции.

Вошедшая в зал Герба выронила на ковёр бутылку вина, по счастью оказавшуюся по-прежнему неоткупоренной.

– Догг?! – воскликнул Шульц, помогая девушке поднять «Сильванер» и попутно настаивая жестами, что дальше всё сделает сам. – Это имя, достойное истинного сыщика!

Следователь поклонился присутствующим учтиво и с достоинством.

– Прошу нас извинить, – с видимой неохотой сказала Мария и скрылась в кухне вместе с гостем.

– У вас какая-то срочная новость, мистер Догг? – сухо произнесла она, прикрыв дверь и приглашая гостя садиться.

– Скорее, предвидимая, – уселся следователь и стыдливо поёжился. – Я намерен закрыть дело об убийстве арти Грейси.

Лицо Марии не дрогнуло ни единым мускулом.

– Мы не нашли следов отравления. Всё говорит о том, что его хватил удар. Это сердце, миссис Грейси.

– Закрывайте, мистер Догг. И я очень прошу вас, как можно скорее.

Замешательство в глазах следователя сменилось подобием надежды.

– Но пропажа, миссис Грейси... Даже, скорее, ограбление... Ведь это свидетельствует об убийстве.

– Мистер Догг, – устало опустила на стул Мария. – Я понимаю, чем чревато для вас следствие, обречённое на поражение. К тому же у вас нет улик, ведь в противном случае вы не пришли бы. Как и не собирались бы закрыть дело. Я правильно вас понимаю?

Догг опустил голову и выдохнул обречённо и виновато.

– Я устала, господин следователь. Меня бросает в дрожь при мысли, что мне придётся пережить, если следствие не прекратится. Говард умер. И всё, чего я теперь желаю, – дожить в этом доме остаток дней в тишине и по возможности в спокойствии.

Следователь понимающе кивнул и поднялся со стула так мучительно, будто ему сорвало спину.

– Я понял вас, миссис Грейси.

– И очень прошу вас, – поднялась следом Мария, – потрудитесь не предавать огласке тот факт, что версия об убийстве вообще рассматривалась. Таким сведениям ни к чему покидать пределы семьи. Вы не представляете, что значит быть супругой арти, – её голос дрогнул. – Я не желаю для себя судьбы вдовы убитого мастера. Давайте не усложнять жизнь ни нам с вами, ни Ателису.

Догг понимающе поджал сухие губы.

– Прощайте, миссис Грейси.

Он взялся за дверную ручку, помедлил и обернулся.

– А почему ваша дверь ночью не была заперта?

– Мы часто не запираем дверей. Не заперли и в тот раз. Нынче очень душная весна.

– Да, вы правы, – задумчиво пробурчал Догг. – И, боюсь, полная сюрпризов.

– Всего доброго, господин следователь. Позвольте, я провожу.

Они переместились из кухни в зал. Когда дверь дома за спиной полицейского закрылась, Бен и Болс обменялись взглядами.

4. Воцарение

В нынешнем виде Ателис сформировался около века назад. Барочные дома, арочные дворы и покатые крыши, с которых рисовались картинные закаты и разноцветные мозаики городских стен, – всё это бурлило гордостью в сердцах жителей, совершенно точно знавших, что нет на земле града величественнее и пышнее. Об этой исключительности писали газеты, это воспевалось в операх и романах, этим восторгалось телевидение, ограниченное единственным каналом.

По периметру город опоясывало плотное кольцо двадцатиметровой бетонной стены. Детям с первого класса рассказывали, наглядно иллюстрируя фильмами и фотографиями, как выглядит жизнь за пределами Ателиса, навсегда отбивая даже у самых любопытных желание выглянуть за стену. И правда, ни к чему ехать на скотобойню, если в деталях знаешь, какие пейзажи пестрят внутри.

Люди за стеной не писали книг, музыки и картин – каждый житель Ателиса уяснял это с рождения, как и то, что слабым нужно помогать, а нищих духом варваров, обитающих за стеной, – воспитывать.

Единственным экспортным товаром города было просвещение. Литература, музыка и живопись, облакаемые здесь в шедевры, поставлялись за стену, из-за которой, в свою очередь, в Ателис поступали деньги, продовольствие и регулярные вести о фурорах, производимых там романами, операми и художественными выставками, пускай и среди не самой широкой – в большинстве своём, конечно, варварской – аудитории.

Соседи же – так именовали в Ателисе обитателей по ту сторону стены – иногда присылали некоторым арти письма с рассказами о том, как раз и навсегда изменилась их жизнь после погружения в стратосферу величия гения. Арти наполнялись благодарностью и писали трогательные ответы, творя затем на приливе бодрящего заряда воодушевлённое и смелее.

Могучая «Пятёрка Ателиса», ставшая за последние двадцать лет тремя китами культурного величия города-государства, укрепила искусство в сознании ателисцев на ментальном, почти генетическом уровне. Чуждые тщеславия, арти не стремились зарабатывать на своём гении, получая и без того полную чашу признания и благ. И никому из них не приходило в голову, что ход событий однажды может сбиться, разрушив жизнь, в которой нет преступности, подлости и грязи.

Жители Ателиса, особенно нежного пола, любили гулять по центральным улицам – отчасти из-за обилия деревьев, которых в рабочих кварталах было ощутимо меньше, отчасти потому, что здесь можно было посетить роскошный, разносольный ресторан, не теряя при этом в деньгах по сравнению с заведениями за пределами центра.

Женщины просыпались, решали, что сегодня у них хороший день, и кокетливо прихорашивались вдвое ювелирнее и усерднее обычного, после чего направлялись по своим первым, вторым, пятым, двадцать пятым, сороковым – и так до восьмидесяти – улицам к пятиугольникам Брамса, Грига, Дебюсси и других выдающихся арти. Разноцветными компаниями по трое или пятеро они гуляли, шутили и шурили счастливые глаза в яркое небо. У многих были шестидесятилетние руки и двадцатилетние глаза – напряжённая недельная работа к выходным взращивала в них голод, который утолялся в театрах, ресторанах и книжных лавках, коими был испещрён центр Ателиса, где работали арти с чиновниками и отдыхали все остальные.

Чугунные мостовые к полудню начинали отдавать накопленное тепло, и можно было пройтись босыми, натруженными ногами по нагретой улице или улизнуть от солнца в тень пышного дуба.

Один из таких дубов окунал в прохладу веранду ресторана «Старый каретник», одного из лучших в Ателисе, возведённого на месте конюшни на полсотни лошадей. Семьдесят лет

назад её снесли, и в тени вековой кроны вырос трактир, в котором прежде восторгались свежим элем городские конюхи и извозчики. С годами контингент разросся – вместе с трактиром и толщиной меню.

На следующий за визитом следователя день Бен, раскинувшись за небольшим столиком под светящейся свежестью листвой, потягивал из запотевшего бокала мутный лимонад и поминутно поглядывал на часы.

Ровно в половине третьего на веранде появился Болс с кожаным портфелем в пухлых руках. Окинув хмурым взглядом пустую веранду, он подсел к Бену и поставил портфель на пол.

– Как я и полагал, никого, – произнёс он и, вынув платок, обтёр широкий, блестящий от непривычно жаркого апреля лоб со шрамом.

– Все в трауре, – кивнул Бен. – Да и нам пока веселиться не с чего.

– Да уж, – потянулся к портфелю Болс.

– Постой.

Рядом со столиком возникла миловидная девчушка в переднике и с солнцем в волосах.

– Будьте добры, милая, принесите мне то же самое, – указал Болс на лимонад.

Кротко поклонившись, барышня удалилась.

– Да, милая. Свежее росы, – проводил её масляным взглядом Бен.

– Совершенно очаровательна, – кисло согласился арти, складывая влажный платок в карман шероховатого двубортника.

– Кстати, Болс, а чем ты займёшься, когда мы со всем разберёмся? Женишься, быть может?

Немедленный укоризненный взгляд заставил Бена замахать руками.

– Прости, прости, дорогой друг. Я не арти, наверное, потому и не понимаю.

– А пора бы начинать понимать, коль скоро уж ты сам метишь в арти, – заметил Болс. – Арти без метки – всё равно что слепой художник. Ты, по всей видимости, не до конца понимаешь, какие нас могут поджидать сложности. И на твоём месте, кстати, я бы сейчас вовсе забыл о женщинах. Это может поломать всё дело.

– Будь спокоен, дружище. Я умею держать в узде порывы. И не только собственные.

– Очень на это надеюсь, потому что в противном случае...

Тоненькая рука бережно поставила перед ним шипящий цитрусом бокал и исчезла так же внезапно, как появилась. Болс, наконец, расстегнул портфель и выложил на стол синюю папку с золотой каймой по периметру. Бен с минуту поглядел на неё. Так смотрят на новенькую пластинку, которую только что купили, но не торопятся класть под иглу проигрывателя, растягивая удовольствие и поглаживая обложку. Так вдыхают запах музейной книги, к которой давно тянулись руки. Бен раскрыл папку и аккуратно вынул исписанные нотные листы.

– Сколько времени нужно? – осушил разом полбокала Болс.

– Думаю, за неделю разучу, – задумчиво посчитал страницы Бен. Их оказалось двадцать семь.

– Нет, – Болс категорично мотнул блондинистыми кудрями. – Слишком долго. Решать надо быстрее. Пластинка помогла бы. Сможешь сыграть под запись?

– С листа? – он снова в задумчивости пересчитал страницы. – Думаю, да. За завтрашний день управлюсь.

– Хорошо. Вот послезавтра я её и отнесу.

– Уверен, что сможешь убедить?

– С таким вином, – перешёл на шёпот Болс, – возможно, убеждать и не придётся.

Постарайся как следует.

– Не волнуйся, – улыбнулся Бен, – всё будет хорошо. Я не впервые это вижу.

– Я тоже. И всё-таки. Убедить троих в десять раз сложнее, чем одного.

– Я позвоню.

Бен поднялся и, свернув бумаги, втиснул свёрток во внутренний карман летней куртки, которая вспузырилась от резкого порыва ещё чуть прохладного ветра.

– Скоро всё изменится, Болс, – дружески хлопнул он вздрогнувшее плечо и указал на опустевшую папку. – Сожги, не забудь.

Бросив взгляд в глубину ресторана, Бен не увидел солнечной официантки, расхолаженно махнул рукой и покинул веранду «Старого каретника».

Через два дня Болс с квадратным конвертом в руках медленно отмерял шаги в сторону площади да Винчи по раскинувшемуся клёнами проспекту Оруэлла. Неделю назад той же дорогой он направлялся на встречу «Пятёрки Ателиса», ставшую последней для Говарда Грейси. Ни Фруко или Шульц, ни Эс Каписто и ни сам великий арти в пылу коньячных споров не заметили в руках молодого коллеги ничего, кроме бутылки, из которой он пополнял бокалы. Никто не видел, как тонкая капсула сплюснулась в его толстых пальцах, осыпав дно бокала великого арти серым порошком. До последней минуты не решался Болс на преступление, которое, между тем, было уже спланировано до тонкостей, однако неверие Говарда Грейси, Шульца и Фруко в историю о пропавших часах растворило последние сомнения молодого арти, как коньяк растворяет яд.

Когда Болс, первым покинув кабинет Говарда, вышел из филармонии, украшенной колоннами собственного сочинения, в душистую весну вечерней площади, он воровато оглянулся по сторонам и свернул за угол здания. Маленькие, со звериным блеском глаза возникли из темноты и приблизились к нему. Болс заглянул в них, словно опасаясь рухнуть замертво под их злобой, и тихо проговорил: «Через час». Невысокого роста человек кивнул и исчез в сумрачных липах проспекта Джойса.

Болс долго смотрел ему вслед, затем пересёк площадь и зашагал к дому. До проходящих мимо редких и улыбчивых людей доносился сдавленный плач.

Той же улицей арти направлялся теперь на встречу с Фруко, Эс Каписто и Шульцем. В руках он сжимал пластинку, переданную ему Бенем Грейси часом ранее. В круге винила увековечилось то, о существовании чего во всём Ателисе знали теперь лишь двое, – лучшее творение арти Грейси, ставшее реквиемом по самому себе.

Когда двадцать лет назад Фруко представил Говарду молодого меланхоличного скульптора с кудрями Александра Македонского, великий арти обрёл второго сына, о чём, впрочем, никогда не заявлял вслух, оберегая тем самым от ревности родное чадо. Однако окружающим слов и не требовалось, а включение Говардом молодого арти в «Пятёрку Ателиса» признавалось всеми, как и бесспорный художественный гений Болса.

Грейси делился с молодым фаворитом самым сокровенным. Его последнюю сонату, что сейчас, вырезанная в виниле, дрожала в трепещущих пальцах, слышал, кроме Болса, лишь Бен, приложивший к сочинительству руку.

Когда перед глазами арти выросла пятиэтажная филармония в изголовье витрувианца, он опустил на скамейку на площади Леонардо и с беспокойной неуверенностью всмотрелся в квадрат белого конверта, словно там, внутри картона, ожидала минуты своего высвобождения адская сила, способная взорваться в любых владеющих ею руках и обратить в пепел жизнь, цветущую в радиусе всего сущего.

Если задуманное удастся, размышлял Болс, изменится многое, изменится бесповоротно. Возможно, жизнь Ателиса и его – Болса – навсегда перейдёт на параллельные рельсы истории, которые уже не вернуться к прежнему ходу. От этой мысли у арти закололо в груди. Разум его затуманился, а на лбу выступила крупная россыпь испарины. Он зажмурился, и перед мысленным взором его возник Говард, сидящий за роялем в рабочем кабинете.

– Послушай, как это невероятно и бесконечно, – произнёс он и заиграл свежий отрывок из тайного шедевра.

Мелодия, вплетённая в непривычные аккордные сочетания, поразила Болса в самую глубину. Он закрыл глаза, силясь не пропустить ни ноты. Блаженное чувство окутало его, свежесть звуков, исходящих от рук великого арти, шептала, что всё будет хорошо. Что есть на земле что-то неосоздаемое, наполняющее душу улыбкой неба, к чему можно прикоснуться лишь сердцем, и от чего, однажды это познав, человек не в силах отказаться.

Когда струны рояля стихли, Болс сидел зажмурившись, страшась с открытием глаз потерять что-то главное, наполняющее его в эту секунду. Ему чудилось – разомкни он веки, в тот же миг в самое существо его выстрелит зловонная серость, от которой он уже не сможет укрыться, растеряв защиту, в которую облекла его соната неслыханной благодати. Через минуту, совершив над собой усилие, он, наконец, поднял взор на великого арти. Отецкая улыбка Говарда лучилась к нему светом вселенского добра.

– Правильно, мой мальчик. Нельзя найти бесконечность с открытыми глазами. Я вынашивал эту музыку долгие годы, ещё с тех юных пор, как моя Мария стала моей бессонницей.

С той встречи не прошло и месяца. На глазах сломленного теперь Болса выступили слёзы. Он вытер их платком и резко поменялся в лице. «Кто, в конце концов, есть творец? – подумал он. – Проводник, не более того. Почему же уход творца должен похоронить творение! Вот же оно – у меня в руках. Мир услышит и расплачется, но останется счастлив и никогда не узнает, от чего спас его Бен Грейси вместе со мной – одним из тех, кто призван блюсти в человеке человека. Коль арти Грейси никогда не стал бы спасителем, его сын – станет! Нет, я не позволю им обрушить Ателис на червивое дно людского прошлого. Не бывает этому!»

Болс отпружинил от скамьи с несвойственной тучности его фигуры резвостью, и через несколько минут полная непоколебимости фигура эта возникла в дверях бывшего кабинета Говарда Грейси, где давно ждали, уже подумывая разойтись, Фруко, Шульц и Эс Каписто.

– Дорогой Болс! – вскинул руки Фруко. – Куда вы запропастились? Мы уж помышляли вам звонить, справиться, не напали ли на вас дикие звери! Ха-ха-ха!

– Удивительно, Фруко, как вы умудряетесь писать что-то вразумительное, – воздел глаза к небу Шульц.

– Кхм-кхм, – посерьёзней Фруко. – Простите мне мою несурзность, коллеги. Должно быть, это возраст.

Он неловко засмеялся, как делал всегда, оправдывая реплику невпопад.

– Что вы стоите в дверях, Болс? – в хриплом приглашении развёл ладони Эс Каписто. – Как не родной. Вы же не в гостях, проходите же!

Болс прошёл в кабинет, и лицо его приняло самое серьёзное выражение, на которое было способно, отчего брови Шульца приподнялись, а ноги Фруко будто обмякли, и он, словно чуя беду, медленно уселся в кресло у раскрытого окна, жадно дыша.

– Коллеги! Простите мне сумбурность, с которой я призвал вас. Но дело имеет, как мне видится, безотлагательный характер.

Последовало долгое молчание.

– Не стало арти Грейси, – заговорил, наконец, Болс. – И я, как и вы, безмерно скорблю. Может быть, даже сверх меры. И, конечно, весь Ателис разделяет с нами это потрясение.

Он снова помедлил.

– Но место Говарда не может пустовать.

Присутствующие переглянулись.

– Мы должны отдать себе отчёт в том, что уклад Ателиса без лидера «Пятёрки» становится под угрозой. Да и сама она без него, в общем-то, не вполне «Пятёрка».

– А вы не сгущаете, Болс? – сказал с застывшей приподнятостью бровей Шульц. – Говард собрал нас для некоторого контроля, это правда, но ведь всё-таки не основал династию.

– В самом деле, – подхватил Фруко, – вам не кажется, что вы, так сказать, несколько аггравируете масштаб трагедии? Конечно, уход нашего доброго друга – это катастрофа, но вовсе не вселенского масштаба.

– Не кажется, арти Фруко, – серьёзно проговорил Болс. – Ателис последние двадцать лет потому и существует в таком виде, в каком мы его знаем, что арти Грейси не допускал выхода в тираж чего-то, не имеющего приставки гениального. Вы, как самый старший из нас, вспомните историю. Вспомните себя. Ведь вас в детстве однажды ограбили. А наши деды видели даже убийства. А сейчас! Сейчас даже полицейские – декоративный атавизм. Ни у одного из них не было настоящей практики за всю жизнь. Они просто кастраты.

– Вы ведь не хотите сказать, что это исключительно наша вина, дорогой друг? – Брови Шульца приняли нормальное положение.

– Не исключительно. Но в гораздо большей степени, чем чья-либо, – уверенно заключил Болс.

– Боюсь, вы заблуждаетесь, – снисходительно, но дружелюбно улыбнулся Фруко. – Мы не ответственны за движения чужих умов, уж не говоря о душах. Не стоит брать на себя столь тяжкую ношу, *mon cher ami*. Поверьте, вы с ней не справитесь. – И он, по-стариковски крякнув, поднялся из кресла, одновременно вытягивая из жилета портсигар.

– Если вы по какой-то причине не желаете это признать, это не значит, что история с вами согласится, – не сдавался Болс. – Рост преступности в городе уже наметился. Пусть пока мелкой и не такой явной. Но что вы скажете, когда в этом обвинят лично вас?

Шульц вынул зажигалку, чиркнул и, поднеся к сигарилле Фруко, звонко её захлопнул.

– Возможно, вы даже правы, коллега. Я не берусь вас разуверять. Но, что я знаю совершенно точно, кабинет арти Грейси, – он раскинул руки, – больше не увидит хоть сколько-нибудь сравнимую величину, как бы ни хотелось того вашему молодому сердцу.

– А я согласен с Болсом, – вдруг гулко врезался Эс Каписто, молчавший всё время до этого, отчего голос его прозвучал особенно убедительно. – «Пятёрке» нужен предводитель. И пусть гениальность его не будет столь велика, каковую мы знали в Говарде, пусть даже, чёрт возьми, он не будет арти, – кашель сдавил его горло.

– Непозволительный вольнодумец вы, Эс Каписто, – сокрушённо покачал головой Фруко.

– Я ни к чему не призываю, коллега. Я лишь хочу сказать, что лично мне не по душе возобновившийся шёпот.

– Опять вы про этот шёпот! Да бросьте вы, в самом деле! – вскрикнул Шульц. – Кому и зачем нужно преследовать художников! Это в нынешнем-то Ателисе! Возьмите себя в руки!

– Если разговоры пошли, – не дал перекричать себя Эс Каписто, – значит, арти не так уж мало значат. Вы не наблюдаете связи? – Он снова закашлялся и, под сочувствующими взглядами утерев рот платком, продолжил, уже несколько сбавив громкость: – вы упрямо упускаете, что в некоторых жителях уже квартирует мнение, что качество наших решений стало пагубно влиять на Ателис, а «Пятёрка» нуждается в реформации.

– А-ах! – пылко махнул рыжей рукой Фруко и отвернулся.

– Полагаете, наша работа видится им недостаточно гениальной? – ухмыльнулся Шульц.

– Вы, я вижу, тоже считаете это детскими баснями?

Шульц прикрыл улыбку зажигалкой, а Эс Каписто указал на Болса.

– Господа, наш молодой друг пытается нас предостеречь. Судя по всему, у него даже имеется решение. Ведь так, Болс?

Болс выпрямился и убедительно кивнул, позабыв о только что прозвучавшем доносите-льстве против его мужественности и впервые ясно разглядев в Эс Каписто единоверца.

– Мы с вами заржавели, коллеги, – продолжил Эс Каписто, – что нередко случается в нашем возрасте. И мы не слушаем молодых людей, обсмеивая то, что открыто их свежему взору гораздо явственнее, чем нашему. Многие из-за этого плохо кончили, смею вам напомнить.

– Ну, хорошо, хорошо, – закивал Шульц. – Допустим, вы правы. Допустим даже, Ателису нужна твёрдая рука нового Грейси, который сможет... Нет, скорее, поспособствует прекращению этих странных разговоров о возвращении «русской рулетки», в состоятельность которых я никогда не поверю. Ведь именно на это вы так усердно налегаете? Я не отрицаю, что Говард в силу мягкости нрава не был способен приложить усилия для пресечения глупых слухов. Предположим, мы все будем в безопасности и избежим ваших иллюзорных опасений, искусство вновь взлетит до небесных высот, а к нам гарантированно не будет претензий. Но, позвольте спросить, кого же вы видите в этом кресле?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.